



rocket**book**

Иван Бунин

Митина любовь



Иван Алексеевич Бунин

Митина любовь

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=621025*

Аннотация

«В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним...»

Содержание

I	4
II	8
III	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Иван Бунин

Митина любовь

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва попевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

– Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской нелов-

костью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

– Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помещались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

– Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? – спросила Катя.

– Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, – ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. – Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

– Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, – сказала Катя. – Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, – сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, – может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать

хоть нынче, в такой чудный день! Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? – негромко и настойчиво спросила она, уже с деланой оболъстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:

Меж нами дремлющая тайна,
Душа душе дала кольцо...

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, – Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это, как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто

казалось ему потом. В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого Моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

– Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме, и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама – ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом, – когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, – морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но

уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая – подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой. И все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали – то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее: внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: «Ты гордость моей школы», – он всем своим ученицам говорил «ты» – и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней потом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходиться в голову,

что теперь директор имеет виды на Катю, которая, хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

– Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. И из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

– А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

– Нет, мама, – сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова, – ревность – это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, – сказала она, нарочно не глядя на Митю.

– А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь.

Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам Бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось, – все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и, прежде всего, именно ее, а не воображаемого соперника.

III

В день экзамена Кати, который состоялся наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пущей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

– Поменьше читки, – говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью. – Не играй, а переживай, – говорил он раздельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время

воскликнула с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. «Девушка пела в церковном хоре», – с деланой, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, – как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, – и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.